
ЯБЛОКИ
В ЧУЛАНЕ
Иногда мы выходим из одиночества
не по своей воле...
ГРЕШНОВА

Елизавета Грешнова
Яблоки в чулане

https://litres.ru/74814273
SelfPub; 2026

Аннотация

В северном Вандерхуфе густые туманы с реки прячут всё: чужую нищету, старые обиды и тех, кто не вернулся домой.

Лиам Коул восемнадцать лет притворялся пустым местом, чтобы не повторить чужих ошибок. Но в маленьком городе невозможно вечно оставаться призраком, особенно когда ты решаешь вершить собственное правосудие.

Содержание

Глава 1,2. 5
Глава 2 11
Глава 3 17
Глава 4 25

Елизавета Грешнова
Яблоки в чулане

Глава 1,2.

Зубная паста

Мой матрас небрежно валяется на деревянном полу. На нём лежит далеко не новое и не самое свежее постельное бельё, пропахшее моим потом и трудовыми буднями. В это утро я просыпаюсь сам, ещё задолго до рассвета. Внутренний будильник срабатывает ровно в пять, как заведённый. Мне тридцать семь, но по утрам суставы хрустят так, будто мне все семьдесят, а в висках глухо стучит тяжёлый молот после вчерашнего дешёвого ржаного виски. Я просто лежу и смотрю, как за окном в чёрной ноябрьской темени Вандерхуфа мигают жёлтые прожекторы лесопилки у реки Нечако.

В ванной я беру свою зубную щётку. Щетина на ней давно распушилась и торчит во все стороны, как проволока. Надо бы выбросить, купить новую, но я не хочу. Каждый раз я просто давлю на неё сильнее. Я сплевываю пену в раковину: белая паста густо перемешана с кровью. Во рту стоит тяжёлый привкус металла. Чёрт. Опять дёсны. Надо бы сходить к стоматологу, но я знаю, что никуда не пойду.

Через полчаса я натяну пропахшую смолой фланелевую рубашку, зашнурую тяжёлые ботинки со стальными носами и пойду на лесопилку «Плато» у трассы. Десять часов визга циркулярных пил, летящей в лицо стружки и тупой боли в пояснице. Лучший способ заткнуть собственную голову.

Никто в этом Богом забытом городке на севере Британской Колумбии не знает, что на моём счёте в банке лежат четыре миллиона долларов. Я выиграл их восемнадцать лет назад, ровно через два месяца после того, как мне стукнуло девятнадцать и за мной наконец захлопнулась железная калитка закрытого группового дома на окраине Принс-Джорджа. Купил мятый лотерейный билет на сдачу от дешёвого сэндвича. Усмешка судьбы размером с гору.

Два месяца разницы. Всего шестьдесят дней после того, как меня перестали запирать в тёмном подвале и ломать об мою спину швабры. Меня засунули в этот казённый приют в шестнадцать, сразу после того, как умерла моя мать. Ни одна приёмная семья не захотела брать угрюмого переростка. Она надорвалась на двух работах и сгорела за полгода просто потому, что у нас не было тридцати тысяч на нормальных врачей.

Эти миллионы опоздали на целую жизнь. Они не мои. Они пахнут больничным антисептиком, дешёвыми обезболивающими и её холодными руками. Поэтому я сплю на полу, чищу зубы обломком пластика и ем пустую овсянку на воде.

В раздевалке цеха висит мутное, заляпанное трещинами зеркало. Я ненавижу в него смотреть, но каждый раз, когда всё-таки цепляю взглядом своё отражение, внутри поднимается глухая тошнота. Я вижу в этом стекле не себя, а своего отца. Крупный, широкий в кости брюнет с тяжёлым взгля-

дом карих глаз. От природы массивный, крепкий, но не от спортзала, а от его поганой породы. Он сбежал от нас, когда я был ещё совсем мелким, променял больную жену и сына на лёгкую жизнь без лишних проблем. Единственное, что он мне оставил, это своё лицо и свои плечи.

Иногда мне кажется, что я специально гроблю это тело на лесопилке и не лечу дёсны, лишь бы меньше походить на него. Единственное, что хоть как-то портит его проклятое сходство: грубый, побелевший шрам, тянущийся через левую скулу до самого подбородка. Память о старшем воспитателе в приюте, который любил наводить порядок тяжёлой связкой ключей. Со стороны я похож на угрюмого медведя или вышибалу из дешёвого бара, но для меня этот шрам остаётся единственной чертой в зеркале, которая принадлежит лично мне.

На лесопилке я стою на сортировке сырого кедра. В цеху воняет мокрой корой, машинным маслом и чужим потом. Мои брезентовые перчатки давно протёрлись на ладонях, и к обеду занозы въедаются под кожу так глубоко, что их невозможно вытащить без иголки. Парни из моей бригады зовут меня «Монахом» за то, что по пятницам я никогда не хожу с ними в паб «Cheers» на Чёрч-авеню и донашиваю куртку, с которой облезла вся краска. Они считают меня нищим придурком, который вкалывает за минималку и экономит на сигаретах. Мне так проще. Когда тебя считают пустым местом, никто не задаёт лишних вопросов.

Иногда я думаю, что проще было бы скинуть все четыре миллиона в какой-нибудь онкологический центр или благотворительный фонд и забыть об этом счёте навсегда. Но от одной этой мысли внутри всё сжимается от злости. Я слишком хорошо знаю, как устроены все эти «фонды» и государственные конторы. В групповом доме нам каждое Рождество привозили горы дорогих подарков от спонсоров. Мы видели их ровно пять минут, пока делали фото для отчёта, а потом директор увозил всё в багажнике своего внедорожника. Мои деньги не достанутся ни одному чиновнику в дорогом костюме. Я должен видеть сам. Из рук в руки. Без справок и унижений.

У меня есть своё правило: помогать только женщинам, которые тащат детей в одиночку и вот-вот сломаются. Я выбираю их тихо, как хищник, только наоборот. Три месяца назад я две недели наблюдал за кассиршей из ночного магазина. У неё тряслись руки от усталости, а под глазами не сходили синяки от недосыпа. Я узнал, где она живёт, сунул в её почтовый ящик пухлый белый конверт с десятью тысячами наличными и запиской «На врача и отдых», а потом больше никогда туда не заходил. Она даже не узнала, как меня зовут.

В пять вечера гудок режет уши, и толпа мужиков валит к парковке. На улице уже глухая ноябрьская темень. Я иду пешком мимо чёрных луж и старых пикапов в сторону единственной старой аптеки на Беррард-авеню. Там всегда пахнет дешёвым антисептиком, мокрой шерстью и чужой бедой.

Внутри горит тусклый дневной свет, от которого зудят глаза. У кассы стоит женщина. На вид ей чуть за тридцать, но уставшие плечи опущены так низко, словно она тащит на себе чугунную плиту. Тонкая осенняя куртка явно не по погоде для северного Вандерхуфа, на шее замотан застиранный шарф. Рядом к её колену жмётся худенький мальчишка лет шести в растянутой вязаной шапке.

— Простите, карта снова не проходит, — тихо говорит мистер Миллер, старый владелец аптеки, не поднимая глаз от терминала. — Сумма восемьдесят четыре доллара.

Женщина судорожно роется в потёртой сумке, достаёт мятые купюры и горсть мелочи, высыпает на прилавок. Пальцы у неё красные от холода и мелко дрожат.

— Подождите… вот, здесь сорок два. Давайте уберём витамины и сироп. Оставьте только ингалятор, пожалуйста. Ему ночью дышать тяжело.

У меня внутри что-то обрывается и падает в ледяную пустоту. Эти дрожащие красные пальцы. Этот тихий, виноватый голос, которым бедные люди всегда извиняются за то, что у них нет денег на жизнь. Точно так же двадцать один год назад моя мать стояла у прилавка и просила убрать обезболивающее, чтобы хватило на хлеб.

Женщина расплачивается за один крошечный баллончик, прячет его в карман и разворачивается к выходу. На секунду наши взгляды пересекаются. У неё светлые, прозрачные от усталости глаза. Она скользит взглядом по моей грязной

фланелевой рубашке, по огромным плечам и замирает на белом шраме через всю скулу. В её взгляде нет страха, только такая же глухая, знакомая мне тоска. На бейдже, приколотом к лацкану её куртки под расстёгнутым воротом, мелькает потёртая пластиковая табличка из местной пекарни: **«Хоуп»**.

Надежда. Какая злая ирония для этого города.

Она уводит мальчишку в сырую темноту. Я стою у стеллажа с бинтами ещё минуту, глядя ей вслед, а потом подхожу к кассе.

— Пробейте всё, что она оставила, мистер Миллер, — говорю я хрипло. Голос с непривычки звучит как скрежет ржавого железа. — И добавьте ещё два ингалятора про запас. Я заплачу.

Глава 2

Дешёвый ржаной и корица

Бутылка «Alberta Premium» стоит на полу прямо у изголовья матраса. Единственная роскошь, которую я себе разрешаю. Не для радости. Радость существует для людей с нормальными кредитными историями и фотографиями в рамках. Дешёвый канадский виски служит мне жидким свинцом, которым я заливаю шестерёнки в голове, чтобы они перестали скрежетать после десяти часов на сортировке.

В тот вечер, выйдя из аптеки мистера Миллера с белым бумажным пакетом в кулаке, я не пошёл домой. Внутри всё горело так, словно я проглотил горсть ржавых гвоздей. Эта женщина, Хоуп. Её красные, обветренные пальцы, сгребающие мелочь с прилавка. Её тихий голос, которым она извинялась за то, что у её сына хрипит в груди. Двадцать один год назад моя мать говорила точно таким же голосом, только рядом с ней некому было выложить сорок два доллара за спасительный баллончик.

Я свернул к выезду из Вандерхуфа, вдоль старых железнодорожных путей, к облупленному одноэтажному мотелю «Северный кедр» на трассе Хайвей 16. Мне срочно нужно было заткнуть память.

В номере пахло хлоркой, затхлым ковролином и дешёвым табаком. На тумбочке уже лежали двести долларов ровной

стопкой, а рядом стояла наполовину пустая бутылка виски, из которой я сделал три больших глотка прямо из горла, даже не снимая пропахшую смолой куртку. Обжигающая горечь прокатилась по пищеводу, на секунду притупив тошноту от собственного отражения в мутном зеркале над умывальником.

Платная женщина с выбеленными волосами и усталыми глазами сидела на краю продавленной кровати, лениво листая ленту в телефоне. Мы даже не назвали друг другу имён. Ровно сорок минут механического молчания. Я смотрю в потолок, где от вечной сырости пузырится жёлтая краска, и считаю трещины. Секс за наличные остаётся самой честной сделкой в этом проклятом городе. Ты платишь за отсутствие иллюзий. Ты платишь за гарантию того, что утром не придётся никому врать, не придётся делить один счёт на двоих и не появится ребёнок, которого ты однажды бросишь умирать в пустом доме, как сделал мой отец.

«В моих венах течёт твоя густая кровь, папа, — стучало в висках в такт пульсу. — Но на мне твоя поганая порода и сдохнет».

В три часа ночи, когда придорожная трасса окончательно вымерла, а над рекой Нечако повис густой, ледяной туман, я вышел из мотеля. Голова гудела от спиртного, но ноги несли меня чётко. На стуле у двери я забрал тот самый аптечный пакет. Внутри, между коробками с сиропом и двумя ингаляторами, лежал плотный конверт без подписи. Пять тысяч

долларов купюрами по сотне. Пять тысяч за то, чтобы я мог снова дышать.

Вандерхуф спит мёртвым сном. Я прошёл мимо тёмных витрин Беррард-авеню к старой кирпичной пекарне у переезда. Чёрный ход выходил в узкий переулок, заваленный пустыми ящиками и мокрым ноябрьским снегом. Я положил пакет прямо на металлическую ступеньку под козырьком, придавил сверху деревянным поддоном, чтобы не сдуло ветром, и растворился в темноте задолго до того, как в окнах загорелся первый утренний свет.

Всё. Операция закончена. Я призрак.

Я забыл только одну простую истину: в городке на четыре тысячи человек невозможно оставаться призраком, если у тебя плечи лесоруба и белый шрам через всю левую скулу.

На следующий вечер я приполз со смены выжатый досуха. Спину ломило, пальцы саднили от мелких заноз, а в голове уже пульсировала привычная мысль о бутылке у матраса. Я поднялся по скрипучей лестнице своего старого деревянного дома на второй этаж и замер на полушаге.

У моей облупленной двери стояла Хоуп. Без сына. В той же тонкой куртке не по погоде, с покрасневшим от ледяного ветра носом. В руках она прижимала к груди квадратную картонную коробку, перевязанную грубой бечёвкой. Даже через весь тёмный коридор от неё тянуло тёплым тестом, топлёным маслом и корицей.

Увидев мою огромную фигуру в полумраке лестничной

клетки, она на секунду вжала голову в плечи, но не отступила. Только крепче стиснула картон.

— Мистер Миллер сказал, что вчера вечером лекарства выкупил крупный парень с лесопилки со шрамом через всю щеку, — тихо произнесла она. Голос у неё был хриплый от холода, но удивительно твёрдый. — В Вандерхуфе такой один. А адрес мне подсказал парень на заправке.

У меня внутри всё сжалось в тугой ледяной комок. Она нарушила главное правило. Она переступила черту, которую я выстраивал восемнадцать лет. Я не хотел видеть её глаза. Я не хотел знать, что у неё есть голос.

— Вы ошиблись дверью, — прохрипел я грубо, глядя в пол мимо её плеча. — Уходите.

— Я не могу вернуть вам деньги, — она сделала шаг вперёд, не обращая внимания на мой рык. — Ингалятор я уже вскрыла ночью, у сына начался приступ. А остальное… я закрыла долг за аренду, иначе в пятницу нас выставили бы на улицу. Я не просила милостыню. Но я не могу просто сделать вид, что ничего не произошло.

Она протянула коробку вперёд, почти уперев её мне в грудь.

— Это яблочный пирог. Я испекла его сама после смены. Там нет ничего покупного. Просто возьмите. Пожалуйста.

Я занёс руку, чтобы оттолкнуть этот проклятый картон и захлопнуть дверь. Но мой взгляд упал на её руки. Красные, потрескавшиеся костяшки пальцев с въевшейся мукой

и мелким ожогом от противня. Точно такие же руки были у моей матери, когда она по ночам мыла полы в чужих конторах, чтобы купить мне дешёвые ботинки к зиме.

Горло перехватило так резко, что стало больно глотать. Я молча вырвал коробку у неё из рук, буркнул что-то нечленораздельное, дёрнул дверь на себя и захлопнул засов прямо перед её лицом.

Я стоял в тёмной прихожей, прислонившись горячим лбом к холодному дереву двери, и слушал, как её лёгкие шаги стихают на скрипучих ступенях.

А потом я прошёл на крошечную кухню, одним рывком порвал бечёвку и откинул крышку.

Я не стал искать вилку или тарелку. Я вцепился пальцами прямо в тёплую, рассыпчатую мякоть, отломил огромный кусок и запихнул в рот. Сладкий сок печёных яблок, сливочное масло, ваниль и корица взорвались на языке после месяцев пустой овсянки и жгучего, мерзкого виски. Я давился, глотал почти не жуя, жадно слизывал сахарные крошки с грязных после лесопилки пальцев, как бродячий пёс, который впервые за долгие годы почувствовал вкус дома.

И когда коробка опустела наполовину, я вдруг поймал себя на том, что у меня дрожат руки. Не от похмелья. От животного, липкого ужаса. Потому что впервые за восемнадцать лет мне захотелось, чтобы завтра наступило.



Глава 3

Глава 3.

Банки с яблоками и контейнеры с обедом

Утром после яблочного пирога я просыпаюсь с ощущением, будто проглотил кусок горячего угля. Пустая картонная коробка валяется на полу рядом с матрасом, а к пальцам до сих пор липнет засохший сахар с корицей. Я сижу на деревянном полу, смотрю на крошки и впервые за много лет чувствую, как в груди предательски щиплет.

На завтрак у меня снова пустая овсянка на воде. Серая, пресная клейковина без соли и масла. Я запихиваю её в рот алюминиевой ложкой, смотрю в тёмное окно и не могу выкинуть из головы вчерашний вкус. Тёплое песочное тесто, рассыпающееся на языке. Сочная, чуть кисловатая начинка с пряным запахом корицы и топлёного масла. Этот пирог был преступно, до боли прекрасен. Он пах не пекарней и не деньгами. Он пах моей матерью.

Память бьёт под дых без предупреждения. Я закрываю глаза и снова вижу нашу старую покосившуюся кухню и маму, Эвелин. После того как отец сбежал, оставив нас с пустыми карманами и долгами, она едва сводила концы с концами. Но она никогда не опускала руки и не позволяла нищете забраться внутрь дома.

В наших тесных комнатах никогда не было ни пылинки.

Мама умела создавать уют буквально из ничего, из любого бросового хлама. Она сама перешивала старые простыни в лёгкие занавески с кружевом по краю, вечерами плела из ивовых прутьев аккуратные корзинки для овощей и фруктов, а по весне брала банку дешёвой краски и заново выкрашивала облупившееся деревянное крыльцо и старый кухонный стол. Даже когда у нас скрипели половицы и тек кран, наш дом ощущался самым тёплым и безопасным местом на земле.

И она никогда не ругалась. Сколько бы я ни набедокурил в детстве, от неё ни разу не прозвучало крика или злого слова. Максимум она могла сделать пару замечаний, но это всегда выходило так легко, мягко и непринуждённо, что мне самому становилось стыдно и хотелось тут же всё исправить.

По вечерам она садилась за этот свежевыкрашенный стол под тусклой лампочкой и высыпала из старого кошелька горсть мелких монет, пересчитывая их по два раза, чтобы наскрести на пакет дешёвой муки и пачку маргарина. Денег вечно не хватало даже на нормальное мясо, но она всё равно пыталась устроить мне праздник.

Нам повезло только в одном: прямо за нашим крыльцом росла старая, кривая яблоня с узловатыми ветками. Каждую осень мама тащила с заднего двора тяжёлые плетёные корзины с падалицей, часами сидела у раковины, вырезая тёмные пятна ножом с деревянной ручкой, и закатывала сладкие яблочные дольки в стеклянные банки. Она ставила их ровными

рядами в тёмный чулан, чтобы даже в лютый февраль, когда за окном выл ледяной ветер и не на что было купить конфет, она могла достать банку и испечь мне тёплый пирог. А из остатков варила густой янтарный джем, который мазала по утрам на чёрствый хлеб к моему школьному чаю.

Её руки всегда пахли яблочным уксусом, свежей краской и дешёвым мылом. Пока болезнь не высушила её до костей и не забрала даже силы стоять у плиты.

Я с грохотом бросаю ложку в пустую миску и обвожу взглядом свою нынешнюю берлогу: грязный матрас на голых досках, серые стены, пустая бутылка у изголовья. Я специально живу в этой грязи, потому что не заслуживаю того света, который она строила для меня всю жизнь.

Внутри поднимается глухая, липкая паника. Я нарушил собственный закон. Я впустил чужое тепло в свою клетку, и теперь оно разъедает меня изнутри хуже любой кислоты. Чтобы смыть это проклятое воспоминание, я иду на кухню, откручиваю крышку «Alberta Premium» и делаю два больших глотка прямо натощак. Желудок скручивает спазмом, в глазах темнеет, но через минуту в голове снова становится привычно пусто и холодно. Никакой Хоуп. Никаких пирогов. Никакого прошлого. Только работа.

На лесопилке «Плато» сегодня особенно сыро. С утра моросит ледяной дождь со снегом, и мокрые сосновые доски на конвейере весят как чугунные рельсы. Рядом со мной на сортировке стоит Бобби.

Бобби. От одного этого имени меня тянет блевать.

Ему сорок, у него рыхлое, красное от дешёвого пива лицо, сальные патлы из-под каски и вечная ухмылка человека, который искренне считает себя хозяином вселенной. Дома у Бобби двое маленьких детей и жена по имени Кейти. Тихая, худенькая женщина с усталыми глазами, которая каждый день ровно в полдень приезжает к проходной на старенькой «Хонде», чтобы привезти мужу горячий обед.

Контейнеры у неё всегда вымыты до блеска, а еда внутри выглядит так, будто она встала в пять утра ради этого ублюдка: запечённое мясо, свежие овощи, домашние булочки. Она молча передаёт пакет через сетчатый забор, робко улыбается и сразу уезжает обратно к детям. Точно так же, как моя мать когда-то стояла у плиты, отдавая всё до последней крошки.

Но стоит её машине скрыться за поворотом, как Бобби расправляет плечи и начинает своё ежедневное представление перед бригадой.

— Опять курицу пересушила, корова безмозглая, — громко ржёт он на весь цех, ковыряя вилкой в контейнере. — Сидит целыми днями дома на моей шее, только и умеет, что сопли пацанам вытирать. Вчера вечером даже ноги раздвинуть не смогла, видите ли, голова у неё раскалывается. Надо ей напомнить, кто в этом доме за свет платит, а то совсем берега потеряла.

Он смачно отрыгивает, швыряет пустой пластиковый судок прямо в грязную лужу у станка и вытирает жирные губы

рукавом. Мужики вокруг тупо гогочут, а у меня в ушах начинает звенеть так громко, что перекрывает визг циркулярных пил. После утренней овсянки и мыслей о банках с яблоками в тёмном чулане эта грязь бьёт прямо в открытую рану.

Каждый раз, когда я слышу очередной приступ его самодовольной мизогинии, мои пальцы сами собой сжимаются на обрезке сырого бруса до белых костяшек. В такие секунды мне до дрожи хочется размозжить пустую башку Бобби чем-нибудь тяжёлым, чтобы заткнуть эту поганую глотку навсегда.

— Эй, Монах, чего зенки вылупил? — ухмыляется Бобби, заметив мой взгляд. — Бабы у тебя никогда не было, вот ты и бесишься. Их в ежовых рукавицах держать надо, иначе на шею сядут. Не будем ждать пятницы, погнали сегодня в «Cheers», я даже пивом тебя угощу, бедолага.

Обычно я посылаю их к чёрту и ухожу домой к своей бутылке. Но сегодня во мне всё выжжено дотла утренними воспоминаниями о мамином крыльце и проклятым яблочным пирогом. Мне нужно заглушить этот гул любой ценой. Я молча киваю.

В пабе «Cheers Country Pub» на Чёрч-авеню душно, накурено и воняет кислым разливушным пивом и жареным луком. Наша бригада сдвигает два тяжёлых деревянных стола в углу. Я сижу на краю, опрокидываю одну стопку дешёвого виски за другой, запивая пивом, и молча смотрю в тёмную столешницу.

Бобби к третьему часу нажирается в слюни и начинает солировать. Он разваливается на стуле, раскинув жирные руки, и на весь бар расписывает, как держит Кейти в чёрном теле.

— Я ей сразу сказал: твоё дело жрать готовить, сопли мелким подтирать и рот не открывать, когда мужик отдыхает, — вещает он, брызгая слюной. — Вчера вечером захожу на кухню, а она сидит, ревёт над рецептом от врача. Видите ли, у младшего бронхит, антибиотики ей понадобились за шестьдесят баксов! Я у неё карту из кошелька вытряхнул и забрал наличку. Нечего баловать, само пройдёт, не барин. А заодно и шавку её плешивую пинком за ворота вышвырнул на трассу. В этом доме кормить дармоедов некому, я тут один горбачусь!

Мужики вокруг ржут и чокаются кружками. А я сижу, сжимая стакан так, что пальцы белеют, и внутри меня медленно закипает холодная, тягучая ненависть. Больной ребёнок без лекарств. Выброшенный на мороз пёс. Я вижу в его красной роже своего отца. Вижу каждого ублюдка, который ломает тихих, добрых женщин, потому что знает: им некуда бежать.

В пятницу утром у меня в голове плоское, звонкое похмелье. Воздух в цеху лесопилки «Плато» кажется острым, как битое стекло. Визг циркулярных пил режет перепонки, каждый стук досок отдаётся тупой болью в затылке.

Бобби стоит рядом у линии торцовки. Он тоже с дикого

бодуна, глаза красные, мутные, руки мелко подрагивают, но рот всё равно не закрывается. Он снова скалится, собираясь отпустить очередную шутку про то, как Кейти сегодня утром собирала ему термос.

Я смотрю на вращающийся стальной диск пилы в метре от нас. Зубья сливаются в серебристое, гудящее кольцо. Смотрю на мясистую правую руку Бобби. Ту самую руку, которой он вчера сжимал пивную кружку и замахивался на свою жену.

Никакого припадка ярости. Никакого тумана в голове. Внутри становится кристально чисто и тихо, как в зимнем лесу.

Когда мимо проезжает тележка с брусом и бригадир отворачивается к пульту, я делаю один короткий, незаметный шаг вплотную к Бобби и со всей силы бью его плечом под локоть, толкая прямо на станину.

С похмелья он не успевает сгруппироваться. Нога скользит по сырым опилкам, тело валится вперёд, и его правая кисть уходит прямо под визжащий стальной диск.

Раздаётся короткий, влажный хруст и дикий, нечеловеческий визг Бобби. Кровь веером брызжет на мою фланелевую рубашку и сосновые доски.

Внутри меня расцветает тихая, ледяная улыбка. Насквозь насрать. Мне впервые за много лет спокойно и легко.

Но снаружи я мгновенно срываю каску, хватаюсь за голову и ору на весь цех сорванным голосом:

— Вырубай линию! Скорую! Срочно вызывайте скорую, человек руку порезал!

Я первым подлетаю к воющему от боли и шока Бобби, срываю с себя ремень и туго перетягиваю ему предплечье, изображая дикую панику и ужас в глазах. Бобби трясёт, он давится собственным визгом и соплями от дикого болевого шока, с похмелья он даже не понял, что это был не случайный удар проехавшей тележки. Бригадир хлопает меня по плечу и хрипит, что я спас ему жизнь.

А я смотрю в пол, пряча глаза, и думаю только об одном: одной правой рукой бить жену станет куда сложнее.

Глава 4

Глава 4.

Плата за тишину

Выходные тянутся медленно, как густая смола. Я не выхожу из своей берлоги, допиваю остатки «Alberta Premium» и впервые за долгие годы сплю без кошмаров. Внутри стоит странная, звенящая пустота. Никакой вины за отрезанную кисть Бобби. Только тихое, холодное удовлетворение человека, который наконец починил сломанный замок.

В воскресенье утром я просыпаюсь без привычного свинца в голове. Впервые за много лет мне не хочется лежать лицом в грязную подушку и ждать, пока кончится день. Внутри просыпается забытый, почти дикий вкус к жизни и зверский голод.

Я натягиваю чистую рубашку, завожу свой старый пикап и еду в закусочную на Беррард-авеню. Заказываю огромную порцию яичницы с хрустящим беконом, тосты с маслом, картофельные оладьи и дымящийся чёрный кофе. Я ем с таким аппетитом, какого у меня не было со времён смерти матери, с удовольствием слизывая желток с вилки и чувствуя, как по телу разливается живое, забытое тепло.

Но на середине тарелки вилка вдруг замирает в воздухе. Горячий кофе мгновенно теряет вкус.

В голову лезет холодная, отрезвляющая мысль. Бобби, ко-

нечно, редкое дерьмо, а не муж и отец. Но он был единственным, кто приносил в их дом зарплату с лесопилки. Правой кисти у него больше нет. К станку его не вернут, а на пособие по инвалидности в этом городе не протянешь и месяца. Кто теперь будет кормить Кейти и двоих её пацанов?

Я сам отрубил им единственный источник денег, пусть и такой гнилой. Значит, мне это и исправлять.

В понедельник в полдень, когда конвейер на лесопилке «Плато» останавливается на обеденный перерыв, я выхожу на крыльцо административного корпуса и вижу у сетчатых ворот старенькую, побитую ржавчиной «Хонду» Кейти.

Она выходит из машины, кутаясь в слишком лёгкое пальто, и быстро идёт к двери конторы, низко опустив голову. Когда она проходит мимо меня, я успеваю разглядеть её лицо. Под толстым, неровным слоем дешёвого тонального крема на левой скуле расплывается свежий, сине-жёлтый кровоподтёк, а нижняя губа припухла и треснула в углу. Одноручий ублюдок всё-таки выместил на ней свою злобу за выходные.

Внутри меня мгновенно поднимается знакомая ледяная волна. Я приоткрываю тяжёлую дверь следом за ней и остаюсь в полумраке коридора у кофейного автомата, прислушиваясь к разговору в кабинете начальника смены.

— Мне очень жаль, миссис Блейк, но лесопилка не будет оформлять производственную компенсацию, — сухо чеканит мистер Хендерсон, даже не предлагая ей сесть. — Врачи

в больнице зафиксировали в крови вашего мужа остаточный алкоголь. Нарушение техники безопасности в нетрезвом виде. По правилам страховка в таком случае не покрывает выплаты, а увольнение идёт по статье.

— Но у нас двое маленьких детей… — голос Кейти дрожит, она сжимает в пальцах ручку потёртой сумки так сильно, что костяшки белеют. — Младший болеет, Бобби в ярости, он крушит всё дома, у меня нет ни доллара на еду и лекарства… Пожалуйста, хоть какой-нибудь аванс…

— Ничем не могу помочь, Кейти. Забирайте его личные вещи из шкафчика и освободите кабинет, у меня через пять минут совещание.

Дверь распахивается, и Кейти вылетает в коридор, глотая слёзы и закрывая лицо ладонью. Она пробегает мимо меня, не замечая в тени, и почти бегом бросается к своей старенькой «Хонде» на парковке.

Я смотрю ей вслед через мутное стекло двери. Я сам лишил её этой работы. Я обязан дать ей выход.

В тот же вечер после смены я впервые за восемнадцать лет иду не в мотель и не в магазин за виски. Я иду в отделение банка на Беррард-авеню, за десять минут до закрытия.

Операционист в отглаженном костюме смотрит на мою заляпанную смолой куртку и шрам через всю скулу с плохо скрываемым презрением. Но когда я сую в окошко карту и называю сумму снятия наличными со сберегательного счёта, его лицо вытягивается, а спина мгновенно выпрямляет-

ся. Через пятнадцать минут я выхожу на холодную улицу с тяжёлым банковским пакетом за пазухой. Триста пятьдесят тысяч долларов. Впервые за восемнадцать лет я по-настоящему распечатал свой проклятый джекпот.

Я знаю, где живёт Бобби. Весь цех знал этот облупленный одноэтажный дом с заваленным хламом двором на северной окраине Вандерхуфа.

В десять вечера я стою в тени старых елей через дорогу. В окнах кухни горит резкий свет, и даже сквозь закрытые рамы доносится пьяный, надрывный рёв Бобби и звон разбитой посуды. Через минуту входная дверь распахивается, и на крыльцо выскакивает Кейти в одной кофте, прижимая к себе зарёванного младшего сына. Она сажает детей в «Хонду», но машина только надрывно чихает стартером и глохнет. Аккумулятор сдох на морозе.

Бобби вываливается на крыльцо с перебинтованной культей, шатаясь и матерясь, замахивается левой рукой на дверцу машины.

Я выхожу из темноты елей и спокойно, не спеша, перехожу дорогу. Моя огромная тень накрывает его в свете уличного фонаря.

— Пошёл вон с моего двора, урод! — орёт Бобби, но тут же осекается, узнав меня. В его пьяных глазах мелькает животный страх. — Монах? Какого чёрта тебе надо?

Я ничего не отвечаю. Просто подхожу вплотную, беру его за шиворот грязной футболки одной рукой и с такой силой

швыряю обратно на деревянные ступени крыльца, что он ударяется затылком о косяк и мешком сползает на доски, глухо стоня.

Я поворачиваюсь к оцепеневшей Кейти. Она смотрит на меня широко раскрытыми от ужаса глазами, прикрывая собой детей на заднем сиденье.

Я достаю из-за пазухи тяжёлый бумажный пакет и кладу его прямо ей на колени через открытое окно машины.

— Здесь триста пятьдесят тысяч наличными, — говорю я тихо, стараясь, чтобы мой хриплый голос звучал как можно мягче. — И ключи от моего старого пикапа, он стоит за углом с полным баком и документами в бардачке. Прямо сейчас садись с детьми и езжай на юг, в сторону Камлупса или Келоуны. Снимите тихий дом в хорошем пригороде, оформи детям страховку и никогда больше не возвращайся в этот город.

— Но… откуда… почему вы… — шепчет она побелевшими губами, глядя на пачки купюр.

— Потому что никто не имеет права так жить, Кейти, — обрываю я её и делаю шаг назад в темноту. — Уезжай, пока он не очнулся.

Я стою в тени деревьев и смотрю, как через три минуты фары моего старого пикапа вспыхивают за углом, машина мягко трогается с места и уносит её вместе с детьми прочь из Вандерхуфа в ноябрьскую ночь.

Внутри меня снова тихо и светло. Одна спасена.

Только когда я возвращаюсь домой и сажусь на свой грязный матрас, я вдруг осознаю одну простую вещь. В городе на четыре тысячи человек исчезновение жены Бобби на пикапе местного лесоруба и его разбитая голова на крыльце не останутся незамеченными. И завтра утром ко мне в дверь точно постучат.